



Центр "Петербургское Востоковедение"  
St.Petersburg Centre for Oriental Studies

# **ПЕТЕРБУРГСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ**

## **St.Petersburg Journal of Oriental Studies**

**выпуск 4  
volume 4**

Центр  
**"Петербургское Востоковедение"**

Санкт-Петербург  
**1993**

## Семь ярких вспышек

М. В. Баньковская  
(Санкт-Петербург)

В 1945 г. китаист академик В. М. Алексеев писал своему ученику — профессору Л. З. Эйдлину: "Заканчиваю статью "Китаистика в нашем университете", не легко, очень не легко! Нельзя ни ругать, ни хвастаться, ни упоминать имен одиозных, но исторических для китаистики...". В нашей публикации из этих исторических имен будут названы семь: Н. А. Невский, Ю. К. Щуцкий, Б. А. Васильев, Н. С. Мельников, А. А. Штукин, В. М. Штейн, В. А. Вельгус. Все семеро — ученики Алексеева, из тех, кому он дал такое ударное определение: "Яркие вспышки среди безвольного серья, симулянтов приличия". Семь выбранных для этой публикации имен — семь ярких вспышек, пламя которых в годы террора было либо погашено, либо поколеблено.

Не смея "упоминать имен одиозных", Алексеев не мог и молчать об "исторических для китаистики" заслугах. В большой отчетной и программной статье о советской синологии, которую он готовил сначала к 1937 г. — ее двадцатилетию, а затем довел до 1947-го, Алексеев умышленно снял вообще все имена китаистов, заменив их анонимным "мы". За это его иезуитски ругали в 49-м, во время последнего на его веку идеологического погрома, и уже прошедшая гранки статья "Советская синология" осталась лежать, по выражению Алексеева, "в архивном захоронении", пока не воскресла в 1982 г. в сборнике "Наука о Востоке", уже обновленной: комментарии к статье В. В. Петрова и Л. М. Меньшикова раскрыли все "скобки" и назвали все имена. При этом оказалось, что, например, один только Щуцкий безымянно упомянут в статье 11 раз.

В нашу публикацию почти не входят научные оценки, которые Алексеев успел дать трудам своих учеников в отзывах и характеристиках, написанных при их жизни, а после исчезновения — в анонимных обобщениях. Цель публикации иная: представить почерпнутые из архива Алексеева свидетельства жизни этих ученых, помогающие понять секрет ее горения.

"Горите энтузиазмом, но не гедонизмом. Победительная жадность к знанию и энтузиазм — это панацея", — так взывал Алексеев в 1921 г. в речи, обращенной к "молодому востоковедению". Панацея, естественно, годилась далеко не для всех. "Студент должен быть не учеником, а деятелем. "Средний" уровень студента надо отбросить. Высшая школа — ставка на высших". Кого разумел Алексеев под "высшими"? Всех, в ком прежде всего видел "интеллигентный запрос к пониманию чужой культуры, не допускающий до пассивной покорности урочному заданию. Помните, что показателями вашего успеха будут глубокое понимание текста и его верный перевод. Общая начитанность в сюжетах, связанных с пониманием текста, входит в ваши самостоятельные задачи". Тех, кто не шараялся открыто или закамуфлированно ("симулянты приличия") от такой установки, Алексеев замечал сразу и от-

носился к таким студентам как к равным, считая, что багаж знаний — дело наживное, важна емкость. И для наполнения емкостей "достойным питанием" готов был работать и работал хоть ночами.

В те времена, когда Алексеев сплошь занимался тем, что потом стали называть подготовкой кадров, еще не было разговоров о "межличностных" и "неформальных" отношениях между учителем и учениками и вообще между людьми, занятыми общим делом, но именно такие отношения имели место в Азиатском музее и связанных с ним востоковедных учреждениях Петрограда—Ленинграда. Наглядное доказательство тому — возникшая в трудные, голодные и холодные годы "Малая академия", "Малака", т. е. домашние собрания востоковедов и их друзей [1]. Начавшись в январе 1921 г., заседания "Малаки" продолжались с разной интенсивностью до 30-х годов, когда в силу многих, по выражению Алексеева, "угрюмых причин" заглохли. Большая часть "малачьих" бумаг из личного архива Алексеева — шаржи и пародии, принадлежащие перу самого Алексеева и двух *фра* (братьев), Щуцкого и Васильева, владевших не только пером, но и карандашом и кистью. Документы "Малаки" представляют много живых свидетельств истинного, естественного равенства всех ее участников, прежде всего — Алексеева и его учеников. Поэтому шаржи "Малаки" будут использованы в этой столь далекой от юмора публикации.

Уважение, с которым Алексеев относился к своим слушателям, не оттаивало на равенстве отношений: "Учиться у своих же учеников — радость необыкновенная. Но если она связана с прогрессивным отставанием от них, то это форменное несчастье, от которого упаси меня, Боже". От этого несчастья Бог его спас, не оградив от много худшего — уничтожения любовно выращенной смены.

Делая ставку на высших, меряя их своей меркой и составляя, исходя из этих мерок, свои новые программы, Алексеев вступал на путь опасный — и пропал бы, если бы не появлялись на его курсах время от времени люди, которым программы были и по плечу и по нутру, — "яркие вспышки".

Одной из первых и самых ярких — ослепительной! — был **Николай Александрович Невский** (1892–1937). Приступив к преподаванию в 1910 г., Алексеев сразу заметил белокурого, стройного, жизнерадостного студента, который поглощал знания "полносочно, не зная препон". В дневнике 13-го года Алексеев сказал о нем проникновенно: "Мой двойник, только сильнее и вообще лучше"<sup>1</sup>. Любовь была взаимной — на фотографии, подаренной учителю заканчивающим университетский курс учеником, надпись: "Дорогому Василию Михайловичу Алексееву в память многократных совместных бесед, вдохнувших в меня любовь и интерес к странам Дальнего Востока. Ваш одухотворенный облик будет вечно служить моей путеводной звездой. Один из семи. Н. Невский. С. Петербург 29 января 1914 г." (Один из семи — простое, но знаменательное совпадение!)

Хотя Невский вскоре отошел от китаистики в японистику, связь между учителем и учеником не потеряла ни в научной глубине, ни в чувстве. 2 ноября 1917 г. Алексеев пишет Невскому в Японию: "Как я рад был получить Ваше письмо от 8 октября! Вы себе не можете представить! Подумайте, ведь

<sup>1</sup> Эти слова стали названием для отдельной статьи, рассказывающей о студенческих годах Н. А. Невского [2, с. 97–107].



**Н. А. Невский. 1914 г.**

я в Вас вижу все самое лучшее, Вы — лучший из всех моих учеников... В Вас горит и энтузиазм, и свет науки, Вам принадлежит будущее. Со способностями Вы соединили редкую любовь к труду и знанию, окрашенные в идеальный колорит, бескорыстный, честный, молодой и яркий. Когда мне Елисеев говорит о том, сколь высокого мнения о Вас японские ученые, то я верю и не удивляюсь. Еще бы! Разве можно не восхищаться Вами?" [3, с. 88].

Дата письма объясняет дальнейшее его содержание. Под впечатлением событий, приведших к полному хаосу, Алексеев открыто старается удержать Невского от возвращения домой: "...сидите в Японии á tout prix<sup>2</sup> ...Я надеюсь, что Вы послали прошение в Факультет своевременно и что Вам командировку продолжат. Но если бы это и не случилось, сидите на месте, хотя бы нищенствуя: здесь будет хуже. Мы все растерялись, и каждый чувствует себя как бы накануне своей гибели... Если больше не увидимся, обнимаю Вас крепко, от души... я счастлив был и остаюсь тем, что Вы были моим учеником..."

Однако, когда в 1922 г. в политике правительства в отношении науки и ученых появились позитивные проблески, Алексеев хлопочет о том, чтобы были приняты "спешные меры к облегчению Н. А. Невскому доступа в Россию" [3, с. 89]. Главный аргумент за возвращение: Невский в Японии, несмотря на трудные условия жизни, накопил "огромный первоклассный научный материал в области японской этнографии и литературы, подлежащий обработке на русской территории и в русском университете". Ученому, как всякому творящему, нужна родная почва — таков, видно, закон природы.

Однако вопрос о возвращении Невского все не решался, и отношение к нему было неоднозначно. О том косвенно говорит письмо Алексею тетушки Невского — В. Н. Крыловой из Рыбинска от 30 марта 1925 г.: "Я вполне солидарна с Вами, что вернуться Коле в настоящее время в С. С. С. Р. не имеет смысла... благодаря Вам я могу теперь списаться с ним и посоветовать ему остаться навсегда в новом отечестве, т. к. не всегда можно сказать, что дым отечества нам сладок и приятен".

Жизнь шла, востоковедение в Ленинграде, хотя и с многими трудностями, развивалось, и отсутствие Невского в его рядах было вопиюще нелепым. В отчете Алексеева за 1928 г. по Азиатскому музею особо значительной деятельностью ДВ отдела названа посылка фотокопий с приведенных в систему тангутских рукописей Н. Невскому, профессору Исихаме и Э. Цаху, что должно "сильно способствовать прогрессу этого важнейшего дела синологической современности". Благодарный отклик — в письме Невского от 26 января 1929 г. [4]: "Громадное Вам спасибо за исполнения заказа на тангутские фотокопии и оплату его... Надеюсь, большое количество текстов увеличит мой тангутский словарь. Хотелось бы слышать Ваше конкретное мнение относительно способа составления словаря и расположения в нем идеографов". (Дальше — длинный перечень.) "Опишите, как встретили Новый год. Я так много лет уже далек от этого удовольствия..." Невский все энергичнее рвется домой, Алексеев все энергичнее хлопочет...

В 1929 г. Невский вернулся. В архивном фонде Алексеева есть не имеющий даты листок, но, скорее всего, это 29-й год. Обращаясь к директору Азиатского музея, Алексеев просит пригласить Невского "для

<sup>2</sup> Во что бы то ни стало (фр)



**Н. А. Невский с женой Исоко Мантани-Невской**

разбора и выяснения тангутского фонда АМ, хотя бы временно и без оплаты, на какое-то условие Н. А. соглашается". Временно и бесплатно — но заниматься своим делом! Тут и сила творца-интеллекта, тут и его слабость, которую так легко эксплуатировать.

Среди рукописей "Малаки" — конверт с надписью рукою Алексева: "Сатирикон Щуцкого и Васильева — вечер моих учеников в честь Н. А. Невского 25 сент. 1929". Куплеты (почерком Ю. К. Щуцкого) начинаются общим славословием Азмузу, Инбуку (в Институте буддийской культуры работал тогда Васильев) и самой "Малаке". Затем следуют юмористические персоналии, среди которых: монголист Н. Поппе, индолог Востриков — лама Андрей, Б, Васильев — Бус, Ю. Щуцкий — Фра-мистик и два япониста — Н. Невский и Н. Конрад:

"Два самурая, два Николая  
и тут и там,  
Ученым саном и стройным станом  
пленают дам!"

Одному из "самураев" остается несколько лет на идущую полным ходом работу над тангутско-русско-английским словарем. Да и эти оставшиеся годы будут завалены работой в ИВ, в Эрмитаже, преподаванием японского языка в ЛВИ (Ленинградский восточный институт им. А. С. Енукидзе) и ЛИФЛИ (Ленинградский институт истории, философии и лингвистики), составлением учебника японского языка и пр., и пр. Наблюдая, как вся эта "текучка" съедает творчество Невского, Алексеев в докладе с жутким, но, увы, историческим названием "Стахановское движение и советская китаистика" говорил с отчаянием: "На наших глазах хиреет и погибает колоссальный продукт Н. А. Невского (пишет собственноручно учебник-азы)". В 1934 г. Алексеев представил Н. А. Невского к избранию в Академию [3, с. 85–87], надеясь, что избрание оградит гениального ученого от "проклятых мелочей"...

Вернувшись в 29-м году, Невский поселился в одной с Алексеевыми квартире в доме 17 по улице Блохина. Затем привез из Японии жену и дочку. Из воспоминаний Н. М. Алексеевой: "3 октября 1937. Около 12-ти ночи позвонили с парадной. В. М. вышел открыть, вышел и Н. А. со своей половины. Это мог быть Конрад (он жил этажом выше), а оказалось — НКВД, к Невскому. Был длительный обыск, все перевернули и его увели... Никогда не забуду его голос, произнесший последние слова: "Прощайте, дорогой мой!".

19 ноября 1937 г. Николай Александрович Невский и его жена Исоко Мангани-Невская были осуждены по статье 58, 1-а и 24 ноября расстреляны.

7 октября Алексеев позволил себе записать в дневнике лишь такое: "...после потрясений, идущих крещендо, очевидно до окончательной катастрофы, работа падает из рук".

В статье "Советская синология", о которой говорилось выше, Алексеев писал: "...Самыми примечательными и научно значительными синологическими трудами в области исследования среднеазиатских вопросов являются труды по истории и языку древних тангутов... По текстуальной критике, лингвистической точности и вообще по научной предприимчивости и научному достоинству эти труды могут войти в мировую науку, что и признано в специальной литературе" [3, с. 137]. И было признано в родной стране лишь в

1962 г., когда "Тангутская филология" Н. А. Невского было удостоена Ленинской премии.

Светлым моментом назвал Алексеев появление в 1918 г. нового ученика — **Юлиана Константиновича Щуцкого** (1897–1938), человека, "рожденного к науке, обладающего красотой живого сердца, сочетающего усердие с целой панорамой перспектив". Так говорил о нем Алексеев с самого начала их знакомства, сразу же ставшего дружбой. Через 20 лет, выступая на защите диссертации Щуцкого, Алексеев с особым подъемом и удовольствием перечислил "личные особенности" диссертанта: "энтузиазм, быстрота и широта охвата предмета, основательность, острота критики <...>, изобретательность, предприимчивость, ненависть к банальным дважды два и к стереотипам, находчивость и остроумие" [3, с. 373].

Наибольшее значение придавал Алексеев способности Щуцкого к обобщению, какому-то особенному, физическому и логическому ощущению целого. "Из всех Ваших увлечений Вы сумели составить свою научную личность в некий синтез, замечательно полносочный, многокрасочный. Из самых различных элементов получился синтез на редкость логический" [3, с. 373]. Об этих элементах лучше всего говорится в "Жизнеописании" Щуцкого [5], а также в "Записке о научных трудах и научной деятельности Ю. К. Щуцкого" [3, с. 89–93], составленной Алексеевым на основе "Жизнеописания" (для этой цели оно и было написано по просьбе Алексеева). Не повторяя сказанного в этих работах, приведем несколько к ним иллюстраций.



В. М. Алексеев и Ю. К. Щуцкий.  
Начало 20-х годов. Фото В. М. Алексеева

В "Жизнеописании" Щуцкий называет музыку самым сильным увлечением юности — композицию больше, чем исполнительство, причем большая часть музыкальных произведений, по его свидетельству, написана в 1915–1923 гг.. В фихристе "Малаки" с датами 1.2.1921 — 25.2.1922 отдельным номером стоит fuga в исполнении Фра-1 (Щуцкого) и Гаджасаны (Е. Э. Бертельса). Если это был Бах, то так и было бы означено. Скорее всего, это импровизация Щуцкого. В том же фихристе (сохранился только один, но, возможно, были еще другие) на первых ролях — и авторских, и

исполнительских, и режиссерских — Щуцкий и Васильев, Фра-1 и Фра-2. Пародийные частушки, вроде тех, что исполнялись на вечере Невского, Щуцкий писал, лихо, по любому поводу. Но кроме стишков, постоянно писал стихи совершенно иного толка, часто трагические. Однако сам автор не придавал им серьезного значения (такое отношение, думается, может быть весьма поучительным для многих членов нашего СП), считая единственным их результатом "овладение поэтической техникой, которую применяю только как переводчик" [5, с. 148].

Как нечто "побочное и служебное" оценивал он и свое увлечение живописью, делая однако оговорку для занятий иконописной техникой. В семье Алексеевых сохранилась деревянная икона с изображением архангела Михаила — резба по дереву Щуцкого на рождение сына Алексеевых Михаила в 1922 г. Другой образец — гравюра по дереву для экслибриса книжной коллекции Алексеева.

Еще одним направлением художественных дарований Щуцкого была каллиграфия — Алексеев считал его лучшим каллиграфом из всех китаистов. Способность к этому искусству видна и в том изяществе, с которым он мог писать стилизованным под церковно-славянскую вязь почерком и шуточные посвящения для "Малаки", и серьезные свои стихи.

Многокрасочный и логический синтез личности, о котором говорил Алексеев, не мог бы состояться без постоянной тяги Щуцкого к самораскрытию, самопознанию. Учение Рудольфа Штейнера открыло для этого безграничные перспективы, и в "Жизнеописании" говорится о глубоком вхождении, проникании в антропософию с щемящей и не подлежащей пересказу искренностью. Для нашего рассказа важно, что влияние антропософий на научную жизнь Щуцкого не уведило его исследования от неукоснительной научности: "нужна <...> полная и строго научная подготовленность, вся полнота академической науки в ее самом лучшем и самом строгом виде. Вот почему я по мере сил хочу добиться всего, что человеку доступно в этой строгой и беспристрастной академической науке. Хорошо ли я это делаю, судить не мне, а именно Вам" [5, с. 151].

О том, как судил Алексеев, говорят его записки, характеристики и замечания, которые писались, что называется, по делу и носят деловой характер, но, несмотря на это, в них всюду неудержимо прорывается восторженный голос учителя, влюбленного в таланты своего ученика.

Не следует забывать, что в начале 20-х годов, когда Щуцкий все больше и глубже входил в изучение оккультной истории человечества, ее отражения в китайской культуре и сам себя именовал Фра-мистик, — в те годы отношение к занятиям такого рода уже вполне определилось. О том, как воспринимались средой интеллигентов официальные директивы — антирелигиозные, антицерковные и прочие "анти-", говорит шарж Михаила Кузмина, сохранившийся в архиве И. Ю. Крачковского [6]: члены Западной и Восточной коллегий "Всемирной литературы" общались тесно и, судя по всему, "азмузиаты" (находка Щуцкого) посещали собрания в доме № 36 по Моховой улице ("в храмине № 36 по улице мхов", шутит Алексеев), а их западные коллеги — заседания "Малаки". М. Кузмин, саркастически выражая свое полное согласие с цензурой, требующей ставить в кавычки "святой", "святитель", "великосветский", предлагал продолжить этот список и писать в кавычках

"религия", "церковь", "священник", "старость", "старушка", "дух", "духи", "духовка" и совершенно не употреблять слов "мистический", "духовный" и т. п., писать с маленькой буквы не только Бог, но и Магомет, Будда, Конфуций, имена всех святых, а также Мережковский, Бердяев, Лосский, Карсавин, Волынский (о направлении работ видного деятеля "Всемирной литературы" А. Л. Волынского говорит приписываемая ему в сатириконе статья с названием "Восток в призме апострофического критицизма"). Щуцкий в список Кузмина не попал, хотя имел к тому все основания, очевидно, потому, что не печатал во "Всемирной литературе" своих работ (за исключением переводов: "Из китайской лирики". — "Восток". Кн. 1, 1922).

Смех помогал, но не спасал. В 1925 г. Щуцкий писал В. Л. Котвичу, бывшему ректору ЦИЖВЯ, уехавшему в 23-м году в Польшу: "...Вся моя работа, как и прежде, направлена на исследование интеллектуального (вернее, духовного) пейзажа Китая. (В частности я теперь всецело погружен в изучение буддийской мистики) <...> Невозможность печатать то, что думается, совершенно убивает желание выражать свои мысли в письменной форме. Поэтому я занимаюсь усиленно накоплением материалов (как это называет ободряющий меня Василий Михайлович)" [7]. "Накопление материалов" привело к переводу и исследованию "Книги Перемен" — работе, которую Алексеев тогда же назвал научным подвигом, но которая смогла быть напечатана (и то с немалыми потерями в тексте!) лишь в 1960 г. — через 23 года.



Ю. К. Щуцкий в Азиатском музее.  
Фото В. М. Алексеева

Путь Щуцкого в науке — еще один (из столь многих!) пример, показывающий, что истинный талант, искреннее призвание в условиях тоталитарного режима становятся обреченностью: он не мог не исследовать проблемы буддийской и даосской мистики точно так же, как Мандельштам и Ахматова не могли не писать стихи — только такие, и никаких других. Читая написанное Щуцким, вглядываясь в его лицо на снимках, почти всегда с открытой, как бы оказывающей кредит доверия улыбкой (что не мешало глубокой сокровенности этого человека, сокровенности его духовной сути), чувствуешь оторопь перед самим феноменом независимости от окружающей среды.

Независимость ума и непосредственность души испокон веков почитались главными достоинствами. Юлиан Щуцкий обладал ими в полной и, по условиям времени, трагической мере. Удивительно, как это чувствуется пря-

мо-таки на слух в любых принадлежащих его перу строках. В 1927 г. он пишет Алексею из Ташкента, где доживала последний год жизни Е. И. Васильева, высланная из Ленинграда за принадлежность к антропософскому обществу. Содержание письма — мысли по поводу "Введения в синологию", над которым работал в то время Алексей. Суждения Щуцкого — неожиданные, обостренные до гротеска и при этом открытые и ясные. Хочется привести здесь несколько строк, конец письма, чтобы дать почувствовать их особый ритм, особую музыкальность. "Здесь я живу очень хорошо, очень тихой анахоретской жизнью. Полный отдых. Масса новых зрительных впечатлений. Интенсивное ощущение востока. Это уже безусловно не Россия. Жара умиляет, грею ишиас вовсю" [8].



**Ю. К. Щуцкий.**  
**Конец 20-х годов. Фото В. М. Алексева**

Кроме общности научных — и не только научных — позиций, Щуцкого и Алексеева должна была сближать общая для обоих удивительная открытость, нередко принимавшая форму непостижимой наивности. В 1928 г., после многократных, но тщетных ходатайств о командировке Щуцкого в Японию, Алексеев в очередной докладной записке директору Азиатского музея находит такой аргумент: Щуцкому необходимо ехать, чтобы вылечить в Японии на грязях свой ишиас, а заодно и собрать нужный для работы материал. Потом он переберется — благо близко — в Китай и там доведет материал до необходимой полноты. Так просто! Удивительно, как эти умные головы не понимали "жизни", наивность жила каким-то чудом именно в умных головах (может быть, ум вытесняет хитрость — она же осторожность — из черепного помещения, и наоборот). В разгар 30-х годов, уже в пасти дракона, Щуцкий мог, придя в Институт, сказать во всеуслышание: "Подумайте, какой сон мне приснился — Сталин умер!"

3 июня 1937 г. состоялась защита книги-диссертации Ю. К. Щуцкого "Китайская классическая Книга Перемен". В речи (отзыве на работу) Алексеев говорил: "...Свершилось впервые в моей жизни таинство прогресса: учитель полностью поучается у своего ученика. <...> На старости я сызнова живу!" [3, с. 388].

24 июля 1937 г. — за 9 дней до ареста — Щуцкий пишет Алексееву на дачу, в деревню Большая Ижора. Сам он тоже перевез семью на дачу в Питкелово (там он и будет "взят"), но еще наезжает в город. "Дорогой Василий Михайлович! Только что отнес на почтамт письмо к Вам, прихожу домой, а на столе новое письмо от Вас. Вот хорошо-то! Рад, что снимки потешили Вас, что и настроение, кажется, пободрее. Дай-то Бог. Насчет пластинок: советуем перейти на пленки..." Дальше, на двух страницах — советы по поводу фотоматериалов и экспозиций (на солнце, в тени). Советует купить таблицы экспозиции Рэдэна — "они есть во всех магазинах и стоят 5 руб. Несмотря на кажущуюся сложность, эти таблицы крайне просты и быстро запоминаются наизусть (все приводимые выше расчеты я сделал, не заглядывая в таблицы)". Запомнил наизусть всю таблицу, в которой полно мелких цифр! Но, конечно, это ничто по сравнению с таблицами "Книги Перемен"! "Желаю Вам всяческих фотоуспехов и главное — хороший, безмятежный отдых. Привет Наталии Михайловне и ребятам. Ваш Юлиан" [8].

"Рудольф Штейнер указывал на критическую дату в развитии современности, на годы, начинающиеся 1935-м г., когда постепенно и для все большего количества подготовленных людей произойдет событие такой же важности, как Мистерия Голгофы, на этот раз лишь в сфере самосознания, ибо физически Голгофа нигде и никогда не повторима" [5, с. 151]. Хочется верить, что учение Рудольфа Штейнера помогло Юлиану Щуцкому в критическую дату его собственной и все-таки физической Голгофы: 18 февраля 1938 г. он был "судим" и в тот же день расстрелян. Все повторилось, но не на горе под открытым небом, а в скрытых от глаз подвалах.

Щуцкий (в "Жизнеописании"): "Дружба — моя наибольшая жизненная радость". Алексеев (в письме акад. В. Л. Комарову): "Арест Щуцкого — моя самая большая боль".

Алексеев не дожил до времен, когда стало возможным опубликование трудов Ю. К. Щуцкого, но, несомненно, предвидел их наступление, когда в

Для Софья

для  
моего учителя и  
друга

Василия Михайловича  
Алексеева.

19  $\frac{15}{II}$  25.

Ю. Щуцкий.

Тяжусь в себя несметными огнями  
Флажлет и кук, и ледящих звезда,  
И кую в себя всецветными лучами,  
Нерукотворный в душу строгою мост.  
Но молчалив сторнувший, по светам,  
Я отцветал - и жалвался гроза  
Свершешного металлы и ретамы.  
Минувшее - за мной кометной хвосты.  
И радуюсь, из мировых просторов,  
Я падаю, и в Солнце правлю летя.  
И прошлое - моя комета - порох  
Взрывается снопамы, из которых  
Пропплавленый двойник души всплещ,  
Как отзвук трюма херувимских хоров.

Все было. Все дано. Новсе идёт на убыль.  
Премудростью построен - мир упал во прах.  
И волю веществам зачаровали трубы,  
Звучащие как гром в Божественных мирах.  
И демон разложения, облеченный в грубый  
И лживый плащ вещества, забывший о дарах,  
Пугает нас - детей, показывая зубы,  
И холодом пространств рождает в душах страх.  
Но помни, что в уме твоём живут умы  
Всех звезда и всех планет, всех солнц, земель и лун.  
В терпении изучай созвучья вещества  
И в стройном хоре звезд сложи для них слова.  
Коснись путей планет, как серебрястых струн -  
И свет миров тогда взорвёт равнины тьмы.

статье "Советская синология" уверенно перечислял содеянное Щуцким, не называя "одиозного имени". Однако вряд ли он мог представить себе, что "Книга Перемен" выйдет в переводе и за рубежом, а в своей стране будет переиздаваться — и оставаться редкостью, за которой охотятся далеко не одни только востоковеды.

**Борис Александрович Васильев** (1899–1937) пришел к Алексею в том же, что и Щуцкий, 1918 году. "Вихрем молодого увлечения" он напоминал Алексею его собственные "стеzi былые" — так говорится в набросках стихов тех лет, посвященных любимым ученикам. Разложив в хронологической последовательности касающиеся Васильева бумаги из архива Алексея, видишь, что "властные ветры" эпохи клонили не только "безвольную траву", но сокрушали и сильные характеры. И сметали как ненужный хлам культурную гармонию человеческих отношений.

1921 г. — стопа листов с переводами Васильева из китайских классиков, карандашные на них поправки-замечания Алексея и ответные реплики ученика — диалог, сама тональность которого вызывает радостное изумление: вот как можно учить и учиться, вот как выглядит та обоюдная открытость критике, первооснова отношений учащего и учащегося, о которой не уставал твердить Алексей. Несколько выбранных наугад замечаний — "втыков" — Алексея:

*Поэт, стыдитесь!... В тоске молчу...*

*Образец недодуманной фантазии. Фантазия Вас атакует... Основательнейшее невнимание к контексту.*

*Не дочитан словарь. Вернее ж, в него и не глядели. Штудируйте Цы Юань. Зачем он у Вас маринуется, если не хотите им пользоваться?*

*Quiet vide. Из рук вон так читать словарь, да еще ссылаться на него!.. Из-за одного слова не понято все.*

*Прочтите кому-нибудь эту замечательную фразу!!! Конструкция перетряхнута на русский лад вместе со смыслом.*

*Талантливое уклонение от текста. Не сочиняйте.*

*Понято по Палладию. Ну а по здравому-то смыслу как?*

Желая разнообразить замечания, Алексей любил вводить некую, по его выражению, игривость. К строке перевода: "Лазурной яшмой причесанная голова падает среди воды..." приписано карандашом Алексея: "Южасна! Он ейей заррзал! Памагы!!"

Хотя среди реплик встречаются и такие, как "Очень хорошо! Мой милый мальчик, обнимаю Вас за это!", но перевес "втыков" очевиден. Самолюбивому молодому человеку (Васильеву идет 22-й год) ученому-поэту, уверенному в своих силах (с полным на то основанием), свободно пишущему стихи, нелегко было все это проглатывать. К исчерканным учителем листкам Васильев добавил такое послесловие:

*Текст мой премудрый сянъшэн исчеркал,*

*Я ж, исправляя, изредка фыркал...*

*Мышь, кою давят, тож не без писка.*

*Кланяюсь низко, кланяюсь низко!*



**Б. А. Васильев**  
1925 г.

И добавил: "Признаю, что все справедливо замечено, но не считаю таковой "перевод" для себя нормальным". Алексеев почувствовал обиду ученика и тут же приписал: "Искренне прошу дружески извинить. Хотел ярче оттенить дело... Неудачные переводы да послужат Вам memento, дорогой Фра! Надо додумывать и дочитывать. Любящий Вас В. Алексеев. 27. XII. 21".

И дальше продолжалась та же в полном смысле слова идилия. Из письма Васильева Алексееву, находившемуся в научной поездке по Европе, в сентябре 1923 г.: "...Вы обвиняете меня в том, что я характеризую вещи — "с выкрутасами". Бр-р... Не буду и не делаю этого. Люди ведь растут, и то, что делал я в 1919 г., не буду делать в 23. <...> На недавнем совещании по поводу принципов перевода китайских стихов <...> мы с fr'ой [Щуцким] единодушно отстаивали нашу ("школы А") точку зрения на переводы" [9].

О несомненной, искренней преданности Васильева — что не означало, конечно, обязательного во всем согласия — говорят дарственные надписи на рукописях его работ. "Дорогому Василию Михайловичу с признанием справедливости замечаний, с раскаянием в прежнем методе изложения, ныне измененном, но с уверенностью в правоте основной мысли преподносит сие задиристый, но любящий ученик. Пт., янв. 1924" [10]. Таким он и был, задиристым и любящим — и любимым: зная задирищность и за самим собой, Алексеев не только прощал ее, но и умел ценить в других — в Васильеве она ему явно импонировала, позволяя, кроме всего прочего, высказывать свое мнение без боязни: задиристый сумеет отстоять свою точку зрения.

В 1924 г. Васильев был направлен в Китай. С начала 20-х годов Алексеев упорно хлопотал о командировании в Китай двух учеников, Васильева и Щуцкого, называя их своими "деятельными помощниками, исполненными научного энтузиазма и солидных познаний в китаеведении" [3, с. 203]. Едущего, наконец, Васильева (он был направлен в генконсульство, так что хлопоты Алексеева тут мало что значили) Алексеев снабдил пространной и подробнейшей инструкцией, содержащей целую программу книжных приобретений и для китаеведных фондов Азиатского музея, и для преподавания, а также для собственных его, Васильева, исследований [11, с. 136–137]. Областью научных интересов Васильева, определившейся в начале 20-х годов, стало конфуцианство, понимание которого, как считал Алексеев, "дается с трудом и не всякому" — Васильеву давалось. В отличие от Щуцкого, устремления которого были направлены внутрь, в познание своего и общечеловеческого духовного ядра, Васильев был нацелен в окружающий мир. (Наверно, можно говорить о центростремительных и центробежных силах познания, не оказывая предпочтения одному.) Отсюда и выбор научных направлений: уже в 22-м году Алексеев говорит о Щуцком как о формирующемся даологе, а Васильеву прочит глубокое изучение конфуцианства.

Многие дезидераты, содержащиеся в инструкции, Васильев, "эmissар Азиатского музея", как назвал его Алексеев, выполнил — присланные им книги и журналы изрядно пополнили книжные фонды.

Однако в Китае у Васильева были и другие заботы: он был секретарем генконсульства СССР по китайской части, был также секретарем советского военного атташе, жил в Пекине, Ханчжоу, Кайфэне, Шанхае, прошел через горнило ответственной политической работы в очень сложной политической обстановке. Благодаря своим острым, прямо-таки феноменальным способ-

ностям он мог выдерживать такой темп работы, при котором ему приходилось прочитывать в день по 50 страниц китайских газет и еще продиктовывать энное количество извлеченной из них информации.

Б. А. Вус и Ю. К. Фра.

Полный курс китайского языка.

XV



五  
楚  
二  
仙

1 9 3 4 .

Автошарж Б. А. Васильева и Ю. К. Щуцкого  
на составленный ими совместно учебник китайского языка

Вернувшийся в 28-м году из Китая Васильев оказался в крутом водовороте дел служебных и творческих, хватался за все, энергии было много. Алексеев наблюдал за ним с пониманием и тревогой: разбросанность интересов и увлечений грозила главной теме — исследованию романа "Шуй ху" ("Речные заводы"). Встревать прямо Алексеев не хотел — ученик давно был полностью самостоятелен — и прибегнул к излюбленному средству воздействия, которое многие годы помогало ему приблизить к себе своих учеников (а может быть, приблизить себя к ним): к вечеру "Малаки" был написан шарж "Тысяча рук" — пародия на чрезмерное количество увлечений некоего Ван Си-ли (принятая китайская транскрипция фамилии Васильева), а заодно и на его друга Сю (Щуцкого) с его гипотетическими интерпретациями гуа (гадательных черт "Книги Перемен") и, конечно, еще и автопародия на собственные переводы Ляо Чжэя (в это время вышел третий сборник — "Странные истории"). Чтобы не убить пересказом колорит алексеевского шаржа, приводим его как есть, лишь с некоторыми сокращениями.

### **Тысяча рук**

(продолжение старой истории)

Из неизданных новелл Сам Пью Чая.

Ван Си-ли (что по Энгельгардту значит Король и Тонкая Капуста) был на этот раз совсем не из Шаньдуна, а происходил откуда-то с севера и явно из красноволосях. На носу мог поместить три доу (примерно три литра), наклонял, пил вино и писал стихи. Стихи его граничили с непостижимым, мысли летели, слова скакали, в мыслях было пусто-пустотно этак...

Дни шли, месяцы ползли... Ван, как сказано в "Щицзине", "ворочался—переворачивался, а из дворца зовут". То и дело слышит: Ван, читай лекции! Ван, пиши литературу! Ван, бузи о театре! Ван, даешь балет!.. Ван потел от счастья и ужаса: одна рука на столе, другая на словах-молниях, а все не успева-ет. И целые дни Ван бегал. Жена уговаривала, не слушал. Однажды, когда он писал четырехсотый том, он видит во сне золотого тысячерукого бога. Бог трезлазо улыбался и подавал ему руку за рукой. И вдруг Ван видит, что все руки пристали к нему, как приклеенные: в одной руке была книга, в другой рукопись, в третьей словарь, в четвертой гонорар, в пятой красный мак, в шестой желтая кофта... дальше мог нащупать танцующую фею, которая, как это хорошо сказал Цюй Юань, ногами улыбалась, — и так до бесконечности. Последняя рука было сложена в мудру: два пальца были раздвинуты и согнуты, а меж них был всунут третий. Ван не понял, мучительно захотелось знать... Пошел к другу Сю, из

вестному гадателю, только что вернувшемуся из страны обезьян, которые научили его писать ногами и резать дерево. Спросил, что значит виденная им во сне рука с мудрой. Сю чесал в голове. Волос было много, пока дочесался, прошло время, достаточное, чтобы сварить кашу. Вдруг подпрыгнул на сажень, треснул Вана по плечу и завопил: — Это, наверно, реминисценция девятого гуа, оно состоит как раз из двух гнутых черт с просунутою третьей. Толкование Чан Чая при этом таково: "Пусто и как бы ничего". Понято, что бодисатва это любит.

Ван был недоволен. Назвал свой кабинет: 999. Многие спрашивали. Ван хмуро отвечал: — В средней земле нужна вся тысяча рук, мне ж, как говорит Конфуций, довольно минус одной...

Рассказчику остается прибавить еще вот что: Маленькие мстят — тысячелековая истина. Возьми словарь Палладия и узнаешь, что Ван Си-ли значит "зря мыл мельчайших". Но также можно перевести — "Ван вымыл дулю". От мельчайших до дули, в общем, к пустоте и химере. О Будда! Не твоя ли благодать зовет Вана от красного мака к нирване?! Однако и нирваной заниматься хлебно, сказал Лао-цзы, подоив быка, едущего на Запад.

Как и во всех сатирах "Малаки", каждая деталь тут — намек на вещи серьезные, и можно было бы составить к шаржу Алексева пространный комментарий. Ограничимся немногим.

Красный мак в руке Ван Си-ли говорит о причастности Васильева к созданию сценария знаменитого балета. Многие работы Васильева посвящены исследованию китайского театра, и этот научный интерес, думается, связан с тем, что и сам он пробовал свое перо в этом жанре. В отчете Алексева о деятельности Восточной коллегии "Всемирной литературы" за 1919–1920 годы говорится о "большой исторической драме в стихах на тему из китайской истории и истории поэзии Китая" [3, с. 254], которую Васильев написал на основе материалов и переводов Алексева и которую Алексеев оценил как "первый опыт русского художественного произведения, пронизанного китайским поэтизмом" [3, с. 422]. Лирическая драма "Песнь о великой любви" была предложена Александрейскому театру, но постановка не состоялась. В архиве Алексева сохранился пустой конверт от текста сценария с пометой: "Отдана Ю. К. Щуцкому в мае 1926 г.". Знаменитая поэма Бо Цзюй-и "Песнь о бесконечной тоске", на которой Васильев строил свою пьесу, была опубликована в его переводе ("Восток", 1935). О том, что перо Васильева было легким, острым и удачливым во многих жанрах, в том числе и театральном, говорит сохранившееся в архиве Алексева и в архиве И. Ю. Крачковского "Сказание о трех трубадурах" — выдержанный в стиле старофранцузского романа блестящий шарж на всех азмузовцев, штатных и проходящих [1, с. 145–147].

Еще важнее, чем красный мак, для нашего рассказа другая деталь — "четырёхсотый том" диссертационной работы Васильева. В своем отзыве на "Конфуцианские влияния в романе "Шуй ху" Алексеев, отмечая тот положительный факт, что поездка Васильева дала ему возможность "овладеть и новым Китаем и, стало быть, он может трактовать темы, требующие знания и старого и нового Китая" [3, с. 369–370], в то же время ставил на вид и обратную сторону этой медали — отторгнутость в течение трех лет от кабинетной работы. Однако дело было глубже: Алексеев чувствовал, что Васильева захватывает набирающая силу волна дилетантизма под флагом актуализации синологии. "Новая синология освобождает себя от багажа знания ("вэни") — и изучать Китай становится как бы легче, но это призрачно: новый Китай сложнее старого, как и новая математика сложнее старой" [3, с. 371]. Вот он, путь к пустоте и химере, к нирване, которой "заниматься хлебно".

Однако отношения продолжали оставаться прежними. На замечаниях Алексеева к работе о конфуцианских влияниях в "Шуй ху" Васильев приписал: "Как всегда, сяньшэн, Вы правы — принял все во внимание. Строгая прямота учителя — великое счастье для ученика" [12].

Но время шло, подпирая историю, наступили годы, когда "охота на зубров" — погромная критика старой профессуры — стала не только модой, но неперменным условием всякого продвижения вверх. В 1932 г. в журнале "Проблемы марксизма" была напечатана рецензия на книгу Алексеева о латинизации китайской иероглифической письменности (книга, кстати, и поныне сохраняет свою полезность). Рецензия нарушала нормы не только научной этики, но и элементарной порядочности. Один из шестерых ее соавторов — Б. Васильев [13]. Тягостно, особенно после только что виденных цитат, открыть пожухлый от прошедших лет и изначально газетного качества журнал и узнать, что Алексеев — апологет конфуцианства и его жалкий идеалистический лепет "солидаризируется с идеалистическим бредом Ли-цзи и его буржуазного интерпретатора Расселя", а также солидаризируется с "абсолютно ненаучной и глубоко реакционной работой" — статьей махрового реакционера В. С. Соловьева "Китай и Европа" [14]. От набора трескучих эпитетов закладывает уши и невольно вспоминается: "Поэт, стыдитесь!.. В тоске молчу". Не мог не вспомнить и Васильев, но были над ним силы сильнее его.

Заявив в ответе на рецензию (он напечатан, конечно, не был) о своем "полном и окончательном недоверии" ко всем ее авторам, Алексеев тем не менее в силу своей отходчивости, а главное, исходя из того, что "помимо личных чувств друг к другу, есть чувство науки и нашего общего перед нею обязательства", не только продолжал поддерживать деловые отношения, но и не изменял своей доброжелательности — по отношению к тем лишь, в ком видел научную полезность. Среди них, конечно, и Васильев.

И все же последний, 1937 года, документ — письмо Васильева Алексееву полно глубокой и злой обиды: в предисловии к только что вышедшему сборнику новелл Ляо Чжая в переводе Алексеева Васильев увидел примечание, которое, по его мнению, лишало его "права даже заикаться о претензии на защиту докторской диссертации" [9]. В подстрочном примечании Алексеев возражал лишь против мнения Васильева о подражательном характере новелл Пу Сун-лина, но Васильева задела взятые в скобки слова о том, что китайская литература о Ляо Чжае для чтения нелегкая, и потому (это уже под-

Моему Учителю.

Люблю тебя, мой Петербург,  
отти твоих туманных улиц,  
и эти хлопоты снежных бурь  
и эти сумерки в июле!!

Люблю непрерывный свет,  
летящих нувей и легкой мими,  
и эти знакомый кабинет,  
где по стелам теснятся книги...

Там был строгий и оидный мой,  
и там, сжимая нервно руки  
я читал радость и покой  
и вдохновение науки.

В Китае, думаю о Вае  
в часы разлуки, ночью черной,  
я помнил взгляд знакомых глаз  
и дал знакомый на Черновской!

О, так я — в стороне дней  
судьба слагает жизнью кетти  
— и влек в стамбулы мои  
любимый друг и мой учитель!

Б. Васильев.

Василию Михайловичу

Алексееву → 26/1/99.

разумевалось) Васильев ее не читал как следует. На этот маленький щелчок Васильев 20-х годов усмехнулся бы и что-нибудь задиристое ответил ("мышь не без писка"), Васильев 30-х годов взорвался гневом и обидой.

Дата письма — 2 сентября 1937 г. — за четыре дня до ареста, до исчезновения. Знай об этом Алексеев, не стал бы заступаться за Пу Сун-лина. Знай об этом сам Васильев, не написал бы такого письма. Не на той бы ноте им расстаться...

19 ноября 1937 г. Борис Александрович Васильев был осужден по статье 58, 1-а и 24 ноября расстрелян. Та же дата, что у Невского и Мантани-Невской. В этот день — один только этот день — были расстреляны девять востоковедов.

**Николай Семенович Мельников** (1906–1937) — имя для нынешних китаистов уже незнакомое, но, можно, не сомневаясь, оно не осталось бы в неизвестности, если бы не была оборвана его жизнь, только начинавшая входить в научную зрелость.

Мельников — ученик Алексеева по ЛВИ, который он окончил в 1928 г. Среди отзывов на методы преподавания Алексеева, которые писались по его заданию слушателями старшего курса, один из самых обстоятельных и критических — студента Мельникова. "Наиболее ценною является способность и склонность к постоянной критике и критическому восприятию изучаемого и к независимому критическому суждению", — так считал Алексеев, и Мельников по этой шкале занимал место высокое. Из его критических замечаний Алексеев делал для себя выписки, тут же записывая свои реплики и возражения, которые однако никогда не имели вид все сметающих суждений. "Я почитаю себя счастливым, — писал Алексеев двум лучшим по курсу 26–28-го годов студентам, Торсуеву и Мельникову, — что в моей аудитории попадают (редко, от времени до времени) люди вроде Вас и Мельникова. Как бы вы не относились лично ко мне, будете ли вы моими учениками или яркими врагами и уничтожителями моей школы и системы, у меня навсегда сохранится от знакомства с вами чувство искренне-полного удовлетворения". Такое отношение было понято и оценено (отнюдь не всеми, конечно), что видно по письму Мельникова (март 1928-го), в котором он благодарил Алексеева за две великие науки: "Во-первых, Вы научили нас относиться к делу серьезно, Вы объяснили нам, что такое ответственная работа. "Практический" для Вас значило "деловой", а "деловой" значило "ответственный", и это проходило в течение двух лет Вашего руководства нами красной нитью через всю Вашу систему, с самой первой лекции. Что такое честность в работе и ложь мы не знали до Вас. Во-вторых, Вы научили нас критическому отношению к вещам, к самой жизни. Вы разрушали фетишизм понятий и жизни на наших глазах, и мы учились искать истину глубже, чем это удовлетворяло нас раньше. И мы стали воспринимать, понимать и мыслить совсем иначе, чем до Вас. Я чувствую, что до того, как я пришел к китайскому языку, я был не тот, что я есть теперь, и глубоко убежден, что за это прежде всего должен благодарить Вас".

Практическое изучение китайского языка в ЛВИ — путь, который Мельников предпочел гуманитарному университетскому образованию, — очень скоро его разочаровало. "В результате юношеского порыва бросившись по линии практического изучения китайского языка, я чувствую себя в каком-

то бесконечном круговороте и не вижу выхода из него. То, что я пошел не дорогой университета, а, как мне казалось, более живым и заманчивым путем "практического изучения", мне кажется, уклоняет решительно тот путь, который передо мной, по отношению хотя бы слабого приближения к Вашему пути... С горечью понимаю, что не смогу никогда назвать себя с полным правом Вашим учеником". Особенно ясной стала эта душевная неудовлетворенность, когда Мельников начал работать в НКИД (Народный комисариат иностранных дел) — в советском консульстве на станции Пограничной в Китае.

В ЛВИ Алексеевым была введена методическая установка, при которой студент осваивал китайский текст, обращаясь, в зависимости от характера текста, то к словарю, то, за быстрой справкой к сидящему рядом лектору-китайцу, преподавателю разговорного языка. Оказавшись в Китае, Мельников решил применить эту методу к своей работе, и — получился курьез, по которому можно судить о способностях и навыках этого только что оперившегося выпускника ЛВИ. "Обратившись к занятиям со всей своей энергией и экономя время, я убедился, что такая интенсивность работы неприемлема для китайцев... от меня сбежали первый и второй сяньшэны (учители) — даже без расчета и теперь сворачивают в сторону на улице" [15, л. 7–8]. Впрочем, от бегства сяньшэнов работа пострадала мало: чтение газет и экономических журналов не требовало помощи, единственной областью, где требовался сяньшэн, был "разбор дурацких записок — но, увы, они почти всегда не подлежат оглашению!" [15, л. 10].

Письма Мельникова из Китая содержат много живых описаний работы и быта консульства, тех трудных, но без комизма положений, в которых оказывался молодой сотрудник во время приемов и банкетов. Однако "в отношении тех заданий, которые поручается выполнять мне (*consular repartee*)<sup>3</sup>, центр считает наше Консульство чуть ли не на первом месте" [15, л. 14].

Это обстоятельство ничуть не успокаивало его и не снимало тревожного сознания несовершенства своих знаний. Тут он был одинок: "Многих, мне кажется, угнетает моя страсть к китайскому языку и многие воздерживаются оставаться со мной наедине!" [16, л. 8]. Одинокость такого рода, помимо всего прочего, побуждала Мельникова слать Алексееву полные открытого чувства письма с уверенностью в понимании и отклике. Ответные письма не сохранились, но об их количестве и качестве можно судить по таким, например, репликам Мельникова: "Ваше постоянное внимание так меня ободряет и так подгоняет, что я начинаю верить, что когда-нибудь действительно стану китаистом" [15, л. 39]; "Вы положительно не пропускаете ни одного случая оказать мне помощь" [15, л. 51].

Понятно упорное и все нарастающее стремление Мельникова уйти из НКИД, перебраться в Ленинград или Москву, чтобы работать под руководством Алексеева. "Думал много о Вас и Вашей работе и все больше усиливалось стремление прикрепить к ней... Явно ощущаю неудержимую тягу в Л-д, к Вам, к работе под Вашим единственным руководством. Я чувствую, что это стремление [нарушает] и скромность и чувство приличия, — вероятно, то же самое бывает в пустыне, когда хочется пить" [15, л. 40].

---

<sup>3</sup> Консульская находчивость, остроумие (англ.)

Хлопоты о переводе в систему Академии наук становились все энергичнее, но наткнулись на отказы. "Мой аппетит к истории разгорается", — пишет Мельников в 36-ом году. Его влекла перспектива "создать теорию социальной сущности и исторической судьбы империи Цинь (не говоря уже о более широких задачах)" [15, л. 55]. Как заманчива для ученого перспектива научной работы! За нею не видна была Мельникову перспектива беды, хотя он и ясно чувствовал общую политическую обстановку: "В последнее время вызывают беспокойство общеполитические события. Ведь и частная жизнь каждого является некоторой функцией мировых отношений, которые все больше и больше предвещают какие-то невероятные катастрофы" [15, л. 50].

Встречные ходатайства Алексеева о зачислении Мельникова в Институт востоковедения вызвали противодействие институтских заправил. Дело не двигалось. Из последнего, 27 октября 1937 г., письма Мельникова из Москвы: "Никогда я не прилагал столько энергии ни к какому делу, сколько я потратил ее для того, чтобы добиться перевода в Ленинград... И тем не менее, стою теперь перед разбитым корытом — на мое заявление получен официальный отказ... Если бы сейчас были Ляо-чжаевы времена, я подумал бы, что нас с Вами разделяют какие-то лисьи чары... Попытаюсь пройти к наркомку с жалобой на тех, кто так нецелесообразно распоряжается моей судьбой" [15, л. 85]. Но тут же спешит и похвастаться: "Мои статьи по вопросам политического положения на ДВ стали появляться и в "Известиях", и в "Правде"... Моя статья "Допетровская Россия и Китай", которая будет первой работой за моим именем, помещается в "Историческом журнале" (№ 11)... Когда Вы будете в Москве? Ваш Н. Мельников".

Он был арестован той же осенью. Существует версия, что Николай Семенович был расстрелян по ошибке: на его погребель в тюрьме оказался еще один Николай Мельников, приговоренный к расстрелу.

В архиве Алексеева сохранились письма **Алексея Александровича Штукина** (1904—1963) — около 150 страниц, по которым можно восстановить жизнь этого замечательного человека, его поистине джеклондонскую волю к жизни, главной целью которой, выбранной им еще в начале синологического пути, было: перевести стихами знаменитую "Книгу Песен", "Ши цзин", древнейший китайский памятник, несущий в себе начала китайской поэзии и мирозерцания. Он шел к этой цели-мечте уверенно, зная в себе силы, шел, а потом полз ползком — он полз, а его били и били.

Читая письма Штукина, легко забыть, что они написаны "оттуда", из мира с другими измерениями: листы, исписанные четким почерком с наклоном влево, содержат массу интересных размышлений о принципах перевода с китайского, оценок, критики. Трудно поверить, что вся эта филология пишется там, где места нет ни "фил", ни "логосу". Штукин, как Щуцкий и Васильев, имел в себе поэтический дар, по оценке Алексеева — недожинный (что подтверждают сохранившиеся юношеские его стихи), и, может быть, это трудно поддающееся вытравлению человеческое свойство помогло ему не только выжить, но и остаться во всем верным самому себе.

Первое в кипе письмо — от 21 сентября 1926 г., еще из "нашего измерения". Штукин благодарит за восточку из Китая (Алексеев и находясь в командировках не забывал об учениках — тех, в ком видел, по его определению, "серьезность научного энтузиазма"), взволнованно сообщает о рождении

дочки Наташи и связанных с этим событием тревогах: "Простите мне за все эти подробности, но Вы мне всегда были другом и наставником не только в синологии, и притом вообще наша личная жизнь всегда переплетается с академической" [16, л. 1]. Затем, переходя на синологические темы, анализирует переводы Алексева из Ляо Чжая и т. д. В конце: "Я полагаю быть в Китае весной 27-го. Обидно, что буду, вероятно, без Вас, Г. О. [Монзеллер] счастливее, — наверно, широко пользуется Вашим руководством".

Двадцать лет спустя, день в день — 21 сентября 1946 г. — Штукин пишет из Магадана: "Восемь лет прошло с тех пор, как обрушившееся на меня несчастье, поверьте — совершенно неожиданное для меня, увлекло меня на



А. А. Штукин.  
Конец 50-х годов

Колыму" [16, л. 8–9]. Штукин был арестован в первый раз летом 38-го и приговорен к пяти годам ИТЛ в Магадане. Хотя, как известно, никаких поводов и оснований для этого не требовалось (по принципу: было бы дело, а человек найдется), но в досье Штукина могли быть соответствующие "сигналы": этот скромный и сдержанный человек проявлял свою нравственную позицию с открытостью, которая была уже риском. О том свидетельствует заметка в газете "За больше-

вистскую науку" от 19 июня 1938 г., авторы которой, желая идейно лягнуть Штукина, сослужили, того не ведая, добрую службу его имени: из заметки узнается, что во время заседания, персонально посвященного "лжеученому в звании академика" В. М. Алексеву, перед голосованием резолюции, осуждающей его "реакционную деятельность", Штукин покинул заседание (вместе с К. К. Флутом) [17].

Находясь в заключении, Штукин по понятным причинам не рисковал писать Алексеву. В 46-м он вышел из заключения — без права выезда из Колымы — и работал в Центр. н.-иссл. лаборатории Дальстроя библиотекарем и переводчиком. "Несмотря на все свои невзгоды, я сохранил руки-ноги, а главное — нетерпеливое и упорное желание работать. Мне бы хотелось начать с того самого места, на котором моя работа была прервана, т. е. вновь

приняться за стихотворный перевод "Книги гимнов и песен", а затем взяться за ритмический перевод Шу цзина ("Книги писаний"), который, я в этом убежден, по литературным качествам оказался бы не из последних". Затем следует просьба ходатайствовать о разрешении выезда из Дальстроя в какое-нибудь место в ста километрах от Ленинграда, чтобы иметь возможность заниматься переводом. В конце: "Моя дочь Наташа, принеся Вам это письмо, отправит Ваше ходатайство в виде заверенной телеграммы". Наташе только что исполнилось 20 лет...

В следующих письмах Штукин благодарит Алексеева за хлопоты: "Вы делаете для меня чрезвычайно много — возвращаете меня к моей любимой девочке и жене, и к моей работе... Мне особенно приятно будет работать под Вашим руководством, т. к. только здесь, далеко от жизни, я смог оценить ту огромную роль, которую Вы сыграли в синологии, показав своими изумительными по художественной выразительности переводами всю мощь китайской культуры. Лишь здесь я понял, что истоком моего и других Ваших учеников отношения к древней китайской литературе были Вы — еще когда бы мы преодолели то косноязычие в китаистике, которое было до Вас!" [16, л. 11]. Чтобы в ожидании результатов хлопот не терять времени, просит прислать в Магадан ("...я живу в помещении библиотеки, которой заведу, и горю желанием работать") необходимые книги и экземпляр сделанного им до ареста перевода первой части "Ши цзина", т. к. его собственный погиб в блокаду со всеми его бумагами ("до листка") и книгами.

Письма следуют одно за другим, среди них — телеграмма с опечаткой в духе времени: "Надеюсь выдать вас лично". Наконец, Штукин оказывается под Лугой, найдя себе пристанище сначала в селе Шалово, где живет в помещении школы, в которой преподает, потом в селе Сырец, где ютится в клетишке на хорах церкви, превращенной в школу. Преподает все решительно предметы в 4-м классе, живет на "крайне скромную зарплату". Но — "собираюсь засесть за II часть Ши цзина", "надеюсь во время каникул ускорить мою работу".

И все же, в годы этого своего вынужденного учительства, оторванный от научной жизни, но не оторвавшийся от нее, Штукин продолжал работать над переводом. На подаренном ему Алексеевым автореферате доклада "Предпосылки к русскому переводу китайской древней канонической книги Ши цзин ("Поэзия"), надпись: "Дорогому ученику и другу Алексею Александровичу Штукину, поэту и знатоку китайской поэзии..." В краткой авторефератной характеристике работа Штукина названа "подлинно поэтическим русским переводом", которому можно "предречь даже столь высокое достижение, как принятие его в русскую учебную хрестоматию" [18, с. 499]. О таком достижении Алексеев всегда мечтал и сам.

Летом 48-го Штукина настигло новое несчастье — болезнь: "В голову напустили сотню мурашек... никогда не думал, что наш организм может так мгновенно и непоправимо сдать" [16, л. 47]. Это было то, что называется "легким кровоизлиянием", от которого ему некогда было отлеживаться — надо было преподавать. Но и этого показалось мало его последовательно беспощадной судьбе: в феврале 49-го Леноблпо переверло его, больного, в село у Шугозера: "Загнан в 85 км. от Тихвина, 70 км. автобусом и еще 15 км. лошадей. Судьба дает пинки под место, "о котором не говорил Конфуций" [16,

л. 51]. Еще хватает силы шутить... Тут же рассказ об этнографической обстановке (заговоры-наговоры и пр. ), в которой он должен преподавать еле понимающим русский язык вепсам.

В архиве Алексеева сохранилась повестка на заседание секции литературоведения ИВАН, первый доклад Алексеева: "О поэтических переводах китайской древней поэзии и о русском переводе "Ши цзина" А. А. Штукиным". Заседание состоится 29 июня 1949 г., явка членов секции обязательна, — гласит повестка. Для самого Штукина явка была уже не обязательна: 17 июня он был повторно арестован. Чья неустанная злая воля отыскала и тут, в глухомани шугозерной, этого больного, измученного человека, чудного и чудного поэта-ученого?! Штукин был на этот раз сослан в Норильск и работал там на каком-то опытном огороде рабочим, потом бригадиром.

В июле 1954 г. А. А. Штукин вернулся в Ленинград. А осенью случился второй инсульт. Но не было предела духовной силе и стойкости Алексея Александровича: он научился писать левой рукой и продолжал дорабатывать свой перевод. Изданную в 1957 г. книгу он дарил друзьям и коллегам, надписывая ее изменившимся почерком. В 1963 г. он умер.

"Книга Песен", "Ши цзин", в переводе А. А. Штукина переиздана издательством "Художественная литература" (Библиотека китайской литературы) в 1987 г. Однако в предисловии не сказано ни слова о поэте-переводчике и его судьбе — подвиге.

К именам репрессированных в 37-м–38-м годах учеников-коллег Алексеева "призыв" 49-го добавил еще два имени: **Виктор Морицович Штейн** (1890–1964) и **Виктор Андреевич Вельгус** (1922–1980). Мне, пишущей эти строки, довелось не только быть лично знакомой, но и сотрудничать с ними: оба помогли мне своим участием в подготовке к печати первой посмертной книги моего отца В. М. Алексеева "В старом Китае" (М., 1958). Поэтому, говоря о них, я могу присовокупить к свидетельствам документов и некоторые воспоминания.

В. М. Штейн отважился на 50-м году жизни приступить к китаеведной "учебе" под руководством Алексеева и так преуспел, что служил для Алексеева примером, подтверждающим не раз высказанное им убеждение, что к изучению китайского языка и культуры должны приходить люди зрелые. Страноведа — экономиста и географа — Штейна привело в ориенталистику



В. М. Штейн.  
40-е годы

нежелание работать по чужим переводам и указаниям. Занимаясь историей китайской экономической мысли, особенно ее основоположником Гуань-цзы (VI в. до н. э.), Штейн брал от текста, по выражению Алексеева, не слова, а мысли. Алексеев видел в нем "синолога-экономиста нового типа, для востоковедения весьма полезного" [3, с. 111], что помимо всего прочего выразилось в участии Штейна в работе над большим китайско-русским словарем, а также в создании и чтении университетского курса "Экономика Китая".

В 1940 г., когда Штейн начал брать "уроки" у Алексеева, он был не только зрелым ученым — его биография было тоже "зрелая": в 22-м он был арестован как "ученый с буржуазным мировоззрением", подлежал высылке и мог уехать в компании Бердяева, Лосского, Бруцкуса, Прокоповича, но был амнистирован. В 30-м был арестован снова, на короткое время. Когда Алексеев и Струмилин выдвинули Штейна в действительные члены АН в 1938 г., эти данные его биографии, конечно, припомнились. В 1942 г. Алексеев хотел предпринять новое представление, но Штейн в письме из Саратова просил этого не делать: "Боюсь, что "карантинный" срок не прошел... представление зовет хлопоты и возню, а "свойства кандидата" еще усложнят их" [19, л. 16].

Большая часть писем Штейна, целая подборка которых хранится в архивном фонде Алексеева, — из Саратова, где он находился во время войны, уехав из блокадного Ленинграда лишь весной 1942 г. Помимо ценных для истории востоковедения информации и характеристик, письма Штейна — образец редкого в наше время эпистолярного стиля, открытого, ясного, неспешного, несмотря на тяжелый, полуголодный и полухолодный быт и большую преподавательскую нагрузку в Саратовском университете (17 часов в неделю). Эти письма — беседы, необходимые для всякого творчества, а научного, может быть, особо: "В Саратове не с кем поделиться мыслями... Вспоминаю с благодарностью наши ленинградские беседы... Когда читаешь Ваши письма, невольно заражаешься желанием "преодолевать пространство" и оказаться вблизи Вас, чтобы испытать несравненное удовольствие духовной "индукции"..." [19, л. 12].

В письмах нет жалоб на трудности и болезни, но постоянны жалобы на страдания от невозможности довести до конца работу над Гуань-цзы и вообще заниматься какими-либо китайскими текстами (за отсутствием их в Саратове). "В Москве, по-видимому, жить лучше, чем в нашей глухой провинции: можно хотя бы пользоваться новейшей иностранной литературой не так, как здесь — по чайной ложке, а порциями, более или менее чувствительными для нормального человека. Написал и поймал себя на слове: уж и науку стал мерить продовольственными мерками! До чего ж противно!" [19, л. 40, об.]. И при всем при том: "Продолжаю свое новое увлечение историей экономической мысли и пробую привести в стройную схему мои представления о развитии экономической идеологии в Китае" [19, л. 39, об.]. Сравнение китайской древней экономической мысли с древнеклассической мыслью Греции, которым занимался в Саратове Штейн, служило освобождению изучения китайской культуры от специфической замкнутости, что особо ценил и ставил в заслугу Штейну Алексеев.

Отсутствие необходимых материалов и литературы заставляло Штейна хвататься и за далекие темы: "Работаю над Герценом и Чернышевским и мечтаю о Гуань-цзы. Буду делать доклад "Основная линия развития русской

экономической мысли" [19, л. 58]. Поистине, "хлебом не корми, дай работать" — принцип интеллигента. "Я мечтаю вернуться в востоковедческую среду и покончить с внутренним раздвоением личности между Китаем и экономической географией. Сейчас, в связи с "сезоном", весь ушел в изучение Соед. Штатов и углубился в журналы, которые здесь имеются по конец 1941 г." [19, л. 17].

В письмах Штейна с полной, конечно, откровенностью говорится о многих деятелях науки и около нее. В письме от 2 февраля 1944 г. по поводу будущего состава кафедры в ЛГУ: "...как избежать проникновения на факультет людей, являющихся "востоковедами" только в силу своего желания слыть таковыми?".

Судя по письмам, Штейн высказывал свои мнения о таких "востоковедах" не только Алексееву, и, думается, кое-кто из них это запомнил и — припомнил.

1 сентября 1949 г. Штейн был арестован и через год и три месяца тюремного ожидания осужден по статье 58, 10 и 11 и приговорен к десяти годам в Шиткинском лагере Иркутской области.

9 сентября 49-го Алексеев записал в дневнике: "Мороз по коже при мысли о судьбе Штейна и многих. Что в сравнении с этим смерть". А еще в конце августа Виктор Морицович и Василий Михайлович гуляли взад-вперед по дорожке перед дачей Алексеева в Комарове, ведя долгую беседу о разных событиях — научных и противонаучных...

Штейн вернулся в 1955 г., Алексеева уже не было в живых. Помню, как Виктор Морицович пришел к нам — какой-то смерзшийся в комок, с трудом произносящий слова. Через несколько месяцев оттаял, и я всегда удивлялась его душевному равновесию, мудрой, с юмористической окраской доброжелательности. Беседовать с ним было не только интересно, но еще и отраднo и успокоительно.

Виктор Андреевич Вельгус — из тех ярких вспышек, которые озарили последние годы Алексеева "улыбкою прощальной". Цитата вполне оправдана, ибо и сам Алексеев привлекал ее по тому же поводу, заявляя, что любовь к ученикам так же способна блеснуть "на закат печальный", как и любовь воспетая.

В. А. Вельгусу и его судьбе посвящены две дополняющие одна другую статьи И. Э. Циперович и В. В. Матвеева [20, 21]. Не повторяя приведенных в них данных, я хочу лишь добавить несколько собственных воспоминаний.

Я хорошо — зрительно — помню, как Виктор Вельгус впервые появился в нашей квартире на Васильевском. Кажется, это было в день его приезда в Ле-



В. А. Вельгус.  
60-е годы

нинград, может быть, прямо с вокзала: вид у него был, как на бегу, с наклонном-устремлением вперед, и весь он был полон радостного нетерпения: до того был только обмен деловыми письмами с академиком Алексеевым, а теперь предстояло знакомство. Когда я через какие-то минуты вошла в кабинет предложить чаю, там уже полным ходом шел научный разговор, дверцы шкафа были распахнуты, и на всех возможных поверхностях нарастали стопы книг. Когда этот смуглый, чудесно улыбающийся юноша ушел, Василий Михайлович, тоже радостно возбужденный, сказал: "Ну, это настоящий ученый!"

Я не раз слышала от отца подобную, как мне тогда казалось, преждевременную аттестацию, не понимая, что так он оценивает научный потенциал, аппетит к познаниям: "Идеальным является вообще удовлетворение аппетита. Кормить сытого или больного — значит не давать ему радости". Вельгус обладал таким научным аппетитом, что уместнее тут слово "голод". Когда он подолгу сидел-занимался в кабинете Алексеева, жадно читал-писал, его молодое сухощавое лицо с напряженными скулами и всегда блестящими глазами выражало именно голод, и, конечно же, Алексеев был счастлив кормить такого "голодного", о таких учениках он мечтал всегда.

О том, что первое впечатление — настоящий ученый — не обмануло Алексеева и затем лишь углублялось, говорят надписи на работах, подаренных Вельгусу. На монументальной "Поэме о поэте Сыкун Ту": "Молодому и уже замечательному китаисту Виктору Андреевичу Вельгусу с приглашением протудировать эту книгу 1916 г., когда автор был еще молод и полон надежд". На оттиске "Артист-каллиграф и поэт о таинствах в искусстве письма": "Молодому товарищу-китаисту Виктору Андреевичу Вельгусу, идущему верными шагами к совершенству, на память о беседах по этому самому поводу, т. е. о китайском каллиграфе и его русском оформлении".

Отношение Алексеева к Вельгусу отнюдь не у всех встречало понимание. В конце 48-го года Алексеев очередным образом жаловался в письме к Л. З. Эйдлину на чинимые Вельгусу препятствия: "Вельгус все еще мучится с квартирой, бедняга. Потентаты желают его выжить, я же — "муравей, лишь силы непомерной"..." Потентаты — университетские властители, конечно, стремились отделаться от этого новичка со столь сомнительными анкетными данными — протеже академика, имеющего, на их взгляд, тоже весьма сомнительную репутацию. Прежде всего, по принципу "кабы чего не вышло", а более всего — в силу кровной, как у собак к волкам, враждебности отверженных стереотипу невежд ко всему, что от стереотипа демонстративно отклоняется. Тут все ясно. Страшнее было другое: те недомолвки, многозначительные паузы, которые сопровождали имя Вельгуса в разговорах не потентатов, а коллег. Как ни горько в этом признаваться, но не могу не сказать: на арест Штейна реакция у всех была однозначна, на арест Вельгуса — нет. Конечно, сокрушались, охали, но тут же возникали какие-то оговорки, многоточия и вопросительные знаки: откуда и зачем приехал? кто может за него ручаться, его не зная? Сомнений не было у старшего поколения, моих родителей и вообще представителей уходящего племени российских интеллигентов, воспитанных на принципе доверия как основе нравственности. Наш, следующий слой был с детства окуриваем пропагандой повышенной бдительности — возведенной в принцип подозрительности. Этот ядовитый дым впитывался в поры и проникал в кровь, несмотря на наше от него отма-

хивание, смешки и анекдоты. Молодой, обаятельный Вельгус был всем симпатичен, но... Я уверена: он это чувствовал, натываясь на эти "но", как на битое стекло. Подтверждение тому — в письме из лагеря, адресованном И. Э. Циперович. Говоря о своем отношении — своих чувствах — к покойному уже учителю, Вельгус писал: "Сомневаюсь, чтобы многим были понятны эти чувства, и в особенности тем, кому в силу профессиональных инстинктов вера в искренние движения человеческой души не дана".

Вернувшись к жизни и науке, Вельгус сумел стать "изрядным китаистом", как то и предсказывал Алексеев. Он состоялся как ученый наперекор не только злой своей судьбе, но и растворенной вокруг него подозрительности, и тем самым поправил ее и избавил от этой скверны, думается, многие души.

Возникший в 56-м году — воскресший — Виктор Вельгус уже не был прежним, улыбчивым. Не забуду его лицо, когда я при нем читала наизусть ходившие в магнитофонных лентах галичевские "Облака". При словах: "А мне четвертого — перевод и двадцать третьего — перевод," — усмехнулся: "И тут точно". Было видно, что каждое слово песни — его, он "продрог насквозь, на века" и, мне всегда казалось, не мог, да и не хотел оттаивать — забывать.

Но осталось неизменным по-юношески горячее отношение к Алексею, всякой о нем памяти. С прежним острым блеском в глазах хватался он за материалы путешествия 1907 года, которые в его переводе вошли затем в книгу "В старом Китае". Это участие в посмертной книге учителя было одной из первых работ Вельгуса после его возвращения. Одной из его последних вообще работ оказались замечания на полях моей машинописи "Алексеев и Ольденбург" [22]. Они сделаны карандашом, коряво, что было так не свойственно Виктору Андреевичу: он писал на специально пристроенной дощечке, лежа на спине и все время испытывая боль. Придирчивость замечаний, иногда даже сердитых, полностью отразила благоговейное и ревнивое отношение его к обожаемому учителю.

В последние свои годы Виктор Андреевич время от времени звонил мне по телефону, чтобы поговорить о моем отце. В один из таких разговоров, зимой 79-го, он сказал с пронзительной тоской: "Если бы мне еще хоть пару лет с ним пробыть..." Это "если бы" жило болью в Викторе Вельгусе всегда. Но я думаю и о другой стороне: насколько легче перенес бы Василий Михайлович последние трудные годы — 49-й и 50-й, — если бы рядом был этот ученик, полюбивший его сразу и на всю жизнь, без оговорок, без каких-либо критических коэффициентов. Может быть, именно такая просто любовь, просто преданность и были нужнее всего и в конечном счете принесли бы больше пользы делу, нежели даже доброжелательная и справедливая критика (о критике другого рода, которой были так богаты последние годы жизни Алексеева, я уже не говорю).

И еще один запавший в душу телефонный разговор. Виктор Андреевич с волнением рассказывал мне, как был изумлен художник Цзян Шилунь, когда увидел на экслибрисе Алексеева (экслибрис работы Ю. К. Щуцкого) иероглифы *бу юнь*. Он говорил радостно и вдруг, спохватившись, спросил меня строго, почти сердито: "А ты знаешь, что это значит?" Я знала, не могла не знать: на экземпляры только что вышедшей "Китайской литературы", которые я дарила знакомым, я наклеивала оставшиеся во множестве

(отец был запаслив) экслибрисы и всем некиитаистам писала объяснение: "Бу юнь — не хмурится, не раздражается. Это намек на слова Конфуция ("Лунь юй", "Беседы и суждения", гл. 1): "Люди его не знают, а он не хмурится. Не считать ли такого человека достойнейшим?" И комментатор поясняет: "Радоваться своему влиянию на других естественно и просто, а вот не хмуриться, когда тебя не замечают, — это против человеческого обыкновения и трудно". Виктор Андреевич выслушал мой, без запинки, ответ, помолчал и сказал совсем другим голосом: "А ведь этого никто не знает..."



Экслибрис книжной коллекции В. М. Алексеева с гравюры по дереву работы Щуцкого. На рисунке: китайский ученый-литератор идет в горы навестить друга-отшельника (мальчик указывает дорогу). Иероглифы *бу юнь чжай* — "кабинет того, кто не хмурится (не ропщет)".

Экслибрис, потом на электричке мимо Левашова... Теперь, благодарение судьбе, прозреваем.

12 мая 1990 г. (опять так же совпало, что это было в день смерти В. М. Алексеева, 39-я годовщина) на Левашовской пустоши под Ленинградом — ставшей в последнее время известным местом захоронения жертв сталинских репрессий — встретились: дочь Николая Александровича Невского — Елена Николаевна Невская<sup>4</sup>, дочь Бориса Александровича Васильева — Светлана Борисовна Ручьева, племянница Юлиана Константиновича Щуцкого — Мария Николаевна Соловьева (дочь — Ирина Юлиановна не смогла быть из-за болезни). Была также Галина Анатольевна Генко<sup>5</sup> — дочь известного кавказоведа Анатолия Нестеровича Генко, азмузовца и общего друга всех ближне- и дальневосточников, погубленного в ленинградской тюрьме в начале 1942 г. Были еще члены ленинградского "Мемориала". Был главный инициа-

<sup>4</sup> В опубликованных Е. Н. Невской воспоминаниях о ее родителях ею приведены также и выписки из документов, хранящихся в папках с "делом" Невского и "делом" Мангани-Невской [23].

<sup>5</sup> В только что вышедшем очередном (выпуск 3) сборнике "Уроки гнева и любви" опубликованы подробные, сделанные Галиной Генко выписки из "дела" ее отца [24, с. 61–71].

тор нашего востоковедного паломничества, индолог Ярослав Владимирович Васильков.

Пустошь — уже не пустошь, а могучий пятидесятилетний лес из хорошо откормленных деревьев, обнесенный (около 10 га) прежним высоким дощатым забором с колючей проволокой по верху. В лес уходит плотная наезженная, с колеями грузовиков дорога. Несколько шагов с нее в любую сторону — и под ногами возникает зыбкость, как на сухом болоте: покров земли невелик всюду, а в некоторых местах особенно. Поверхность неровная, слегка бугристая.

Наша группа, по примеру других, выбрала наугад чету берез. Е. Н. Невская и С. Б. Ручьева (Васильева), встав на колени, разложили кругом цветы, воткнули в середину несколько церковных свечей. Мы стояли и смотрели, как медленно близятся к земле неяркие на свету язычки огня, как бы стремясь сквозь покров сероватого песка уйти Туда...

### Источники и литература<sup>6</sup>

1. Баньковская М. В. "Малая академия" в Азиатском музее. — "Народы Азии и Африки". 1985, № 3, с. 139–152.
2. Баньковская М. В. "Мой двойник, только сильнее и вообще лучше." — "Восток". 1992, № 5, с. 97–107.
3. Алексеев В. М. Наука о Востоке: Ст. и документы. М., 1982.
4. Невский Н. А. Письма В. М. Алексею. СПб. ФА РАН, 820, оп. 3, № 577.
5. Шуцкий Ю. К. Жизнеописание. — "Проблемы Дальнего Востока". 1989, № 4, с. 148–156.
6. СПб. ФА РАН, ф. 1026 (фонд И. Ю. Крачковского), оп. 2, № 109.
7. Шуцкий Ю. К. Письмо В. Л. Котвичу от 25. V. 1925. СПб. ФА РАН, ф. 761, оп. 1, № 33.
8. Шуцкий Ю. К. Письма В. М. Алексею. СПб. ФА РАН, ф. 820, оп. 3, № 219.
9. Васильев Б. А. Письма В. М. Алексею. СПб. ФА РАН, ф. 820, оп. 3, № 219.
10. Васильев Б. А. Термины Дао и Дэ в классическом четверокнижии (доклад). СПб. ФА РАН, ф. 820, оп. 4, № 19.
11. Баньковская М. В. Книги и люди (из жизни Азиатского музея). — "Народы Азии и Африки". 1986, № 3, с. 133–146.
12. Алексеев В. М. Рец. на работу Б. А. Васильева "Конфуцианские влияния в романе Шуй ху". СПб. ФА РАН, ф. 820, оп. 1, № 635.
13. Баньковская М. В. В. М. Алексеев — критик и критикуемый. — "Народы Азии и Африки". 1983, № 5, с. 152–166.
14. Б. Васильев, А. Драгунов, Г. Папаян, А. Поляков, П. Скачков, А. Шприцын. За или против латинизации? [Рец. на:] Алексеев В. М. Китайская иероглифическая письменность и ее латинизация. 1932 — "Проблемы марксизма". 1932, № 3, с. 129–139.
15. Мельников Н. С. Письма В. М. Алексею. СПб. ФА РАН, ф. 820, оп. 3, № 544.
16. Штукин А. А. Письма В. М. Алексею. СПб. ФА РАН, оп. 3, № 898.
17. Виноградов Ю. А., Одинцова Н. В. Из прошлого академических газет. — Спецвыпуск газеты лен. ученых "Открытие", № 10, 27 окт. 1989, с. 8.
18. Алексеев В. М. Китайская литература. М., 1978.
19. Штейн В. М. Письма В. М. Алексею. СПб. ФА РАН, ф. 820, оп. 3, № 894.
20. Циперович И. Э. Воспоминания о Викторе Вельгусе. — "Проблемы Дальнего Востока". 1990, № 4, с. 119–130.

<sup>6</sup> К документам из личного архива В. М. Алексея (хранится у М. В. Баньковской) примечания не даны.

21. Матвеев В. В. Воспоминания о Вельгусе. — "Проблемы Дальнего Востока". 1990, № 5, с. 132–140.

22. Баньковская М. В. В. М. Алексеев и С. Ф. Ольденбург (В высказываниях и характеристиках). — Начало пути (Восточный альманах; вып. 9). М., 1981, с. 444–548.

23. Невская Е. Н. О моих родителях. — "Восток". 1992, № 5, с. 90–97.

24. Генко Г. А. Дело № 3433–41 на Генко Анатолия Нестеровича. — Уроки гнева и любви. Сб. воспоминаний о годах репрессий (20-е - 80-е гг.). Сост. и ред. Т. Тигонен. Вып. 3. СПб., 1992.